

Э. Т. А. ГОФМАН

ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44
Г74

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с немецкого *В. Микушевича*

Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Дизайн обложки *В. Воронина*

Гофман, Эрнст Теодор Амадей.

Г74 Эликсиры дьявола / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; [перевод с немецкого В. Микушевича]. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 448 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-172657-7

Одно из самых интересных и необычных произведений великого Гофмана. Шедевр готического романа.

История «сына великого грешника» — молодого монаха-цистерцианца из удаленной германской обители, отправленного в Рим и ставшего свидетелем и участником череды таинственных и страшных событий, — одновременно пугает, увлекает и вместе с тем очаровывает читателя изысканной манерой, в которой написана эта книга...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-172657-7

© Перевод. В. Микушевич, наследники, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Хорошо бы, любезный читатель, увлечь мне тебя туда, под сень сумрачных платанов, где я впервые прочитал таинственную историю брата Медардуса. Ты бы разместился со мною на той же самой каменной скамье, полускрытой пахучим кустарником и многокрасочным пламенем цветов; ты бы, подобно мне, с неподдельным вождением вглядывался в голубые горы: они диковинными виденьями высятся перед нами там, над пространной солнечной долиной, куда ведет аллея. Но ты обернулся и узрел бы не далее как шагах в двадцати позади нас готическое здание, чей портал роскошно изукрашен статуями. Сквозь мрачные ветви платанов взирают на тебя образа святых светлыми, поистине живыми очами; это неувядаемые фрески, преславное убранство широкой стены. Солнце пламенеет багрянцем над горным хребтом, веет вечерний зефир, всюду отрадное оживление. За кустами и за деревьями журчат и лепечут чудные голоса; они как будто нарастают и нарастают, доносясь издали мелодическим ро-

котом органа. Строгие мужи в свободных складчатых облачениях, возводя горе боголюбивые взоры, безмолвно движутся под сенью сада. Неужто ожившие образа праведников покинули высокие карнизы? Ты оваян вещей жутью причудливых сказаний и преданий, запечатленных там, как будто баснословное творится и происходит пред тобой в непреложной очевидности. Это предуготовило бы тебя, и ты читал бы жизнеописание Медардуса, и в невероятнейших его наитиях открылось бы тебе нечто большее, чем безудержное мельтешение лихорадочных грез.

А поскольку ты, любезный читатель, узрел бы уже образа и монашескую обитель, не было бы нужды присовокупить, что мы с тобою в монастыре капуцинов близ Б. *, а точнее, в прекраснейшем его саду — вот куда завлек я тебя.

* Речь идет о Бамберге, в окрестностях которого находился монастырь капуцинов. Гофман посетил этот монастырь в 1812 г., и монашеская жизнь, и католический ритуал произвели на него большое впечатление, во многом предопределив замысел романа. Гофман встретился там со старым монахом по имени Кирилл, которого можно до известной степени рассматривать как прототип отца Кирилла в романе.

Монашеский орден капуцинов отделился от ордена францисканцев в 1528 г. Название происходит от длинного капюшона, пришитого к темно коричневой рясе (облачение капуцинов). Другим отличительным признаком капуцина была окладистая борода. Подобно францисканцам, капуцины имели дело преимущественно с беднейшими слоями городского и сельского населения. Они занимались также дипломатической деятельностью, представляя интересы католической церкви и князей.

В этом-то монастыре я и гостил однажды несколько дней, и достойный настоятель обратил мое внимание на реликвию, сберегаемую в архиве: бумаги усопшего брата Медардуса, и немало усилий потратил я, пока не преодолел щепетильность настоятеля, несклонного допускать меня до них. Собственно говоря, по мнению старца, эти бумаги лучше было бы предать огню. Боюсь я, что и ты, любезный читатель, признаешь правоту настоятеля, когда в твоих руках окажется книга, скомпонованная мною из этих бумаг. Но если ты наберешься смелости неукоснительно сопутствовать брату Медардусу в его блужданиях из монастырской галереи в галерею, из кельи в келью и в миру, пестром — пестрейшем, — вынося вместе с ним все жуткое, ужасное, несуразное и анекдотическое, что было в его жизни, тебя, быть может, очаруют неисчерпаемо переменчивые картины, возникающие в этой камере-обскуре. Не исключено даже, что обманчивая зыбкость начнет вырисовываться в закругленной отчетливости для наблюдательного взора. Ты постигнешь детище темной судьбы, сокровенный росток, образующий мощное растение, чтобы оно буйствовало в безудержном изобилии жизненных сил, производя тысячи стеблей, пока из *одного* цветка не вызреет плод и не вберет в себя все жизненные соки, убивая сам росток.

Когда я с подобающим усердием прочитал бумаги капуцина Медардуса, а это потребовало немалого прилежания, ибо у покойника был почерк мелкий и неразборчивый, как у истого монаха, я предположил: то, что мы склонны нарекать

мечтами и бреднями, позволяет нам постигнуть потаенную нить, которая пронизывает всю нашу жизнь, скрепляя все ее подробности, однако не гибельна ли готовность обрести в таком постижении могущество, дерзновенно разрывающее эту нить, чтобы тягаться с непостижимой властью, помыкающей нами.

Быть может, любезный читатель, и тебя не минует подобный опыт, а у меня имеются весьма существенные основания желать его тебе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел первый ГОДЫ ДЕТСТВА. МОНАШЕСТВО

Моя мать всегда умалчивала о том, какова была жизнь моего отца в миру, но, когда моя память бережно перебирает все то, что я сызмальства слышал о нем от нее, я готов предположить, что он преуспел и в науках, и в житейском благоразумии.

Мать повествовала о своей минувшей жизни довольно сбивчиво и бессвязно, так что далеко не сразу начал я уяснять, что благополучие моих родителей, основанное на немалом богатстве, сменилось удручающей, горчайшей бедностью, что мой отец, совращенный самим Сатаной, пал до мерзкого кощунства и смертного греха, однако прошли годы, и его просветила Божья благодать, и он вознамерился искупить содеянное паломничеством ко Святой Липе*, в чуже-

* Святая Липа — монастырь в Восточной Пруссии, вблизи Кёнигсберга. Название происходит от липы, на которой держалось изваяние Девы Марии, считавшееся чудотворным. Около 1400 г. вокруг липы была возведена часовня, разрушенная во время Реформации и восстановленная

дальнюю, суровую Пруссию. Направляясь туда, изнуренная странствием, мать моя тем не менее впервые убедилась: ее многолетнее супружество не останется бесплодным, и мой отец, начинавший уже отчаиваться, воспрянул духом вопреки всей своей бедности, так как сбывалось возвешенное ему видением, когда святой Бернад* заверил его: с рождением сына ему отпустится грех и будет ниспослано утешение. У Святой Липы, однако, моего отца постиг недуг, и чем менее щадил он себя, при всей своей немощи предаваясь изнурительной епитимье, тем неодолимее хворь брала над ним верх; он преставился, примиренный с Богом и утешенный, в миг моего рождения. С первыми проблесками сознания брезжут во мне милые образы монастыря и предивной церкви у Святой Липы. Меня убаюкивает дремучий лес, меня овевают ароматами буйные и многокрасочные цветы, колыбель моя. Святыня Благословенной не допускает вблизи себя ничего ядовитого или вредоносного; муха не смеет жужжать, сверчок не сме-

в 1619 г. В XVIII в. часовня стала монастырской церковью, где имелось деревянное подобие старой липы со статуей Мадонны, у наружной стены тоже была статуя Мадонны — на каменном стволе, увенчанном железной листвой. Гофман, вероятно, почерпнул сведения об этом монастыре из трагедии Захарии Вернера «Крест на Остзее» (1806), к которой он написал музыку.

* Святой Бернад — Бернад из Клерво (1090—1153), богослов, один из отцов католической церкви. Призывал духовенство к отказу от мирских богатств, выступал против папских притязаний на светскую власть, что нашло отражение в романе.

ет стрекотать в священной тишине, где раздаются лишь умильные гимны иереев, чьи золотые кадила окуривают паломников в продолжительном шествии летучими клубами богоугодного ладана. Все еще вижу я посреди церкви ствол Святой Липы в серебряной ризе. На эту липу некогда снизошла чудотворная икона Пречистой Девы, принесенная ангелами с небес. Все еще вокруг меня и над мной блики и лики; сияющие, красочные образа ангелов и святых на стенах и на церковном куполе. Конечно, чуднодивная обитель представлялась мне по описаниям моей матери, чья пронзительная скорбь сподобилась там благодатного утешения, но я был так проникнут этими описаниями, что мнилось, будто сам я все это узрел и изведаль, хотя вряд ли моя память простирается так далеко в былое, ибо моя мать оставила со мною святое место через полтора года. Однако полагаю, будто воочию явился мне однажды наедине в церкви, где не было в тот миг ни богомольцев, ни священнослужителей, строгий образ таинственного мужа, не того ли захожего живописца, который в старину, когда церковь еще только возводили, вдруг наведалься туда и, хотя его речей никто не разумел, своею ухищренной кистью в кратчайший срок предивно и пречудно расписал всю церковь и, завершив едва свое деянье, снова скрылся.

Также вспоминается мне старый паломник в странном одеянии; у него была длинная седая борода, и он часто брал меня на руки, находил в лесу пестрые мхи и камни, чтобы играть со мною, и все-таки очевидно лишь со слов матери

он возник во мне как живой. Однажды я увидел у него на руках другого незнакомого младенца, моего ровесника, он был неописуемо прекрасен. Среди травы мы с ним целовались и миловались, и я не пожалел для него всех моих пестрых камешков, а он умел располагать их на земле так, что выходили разные рисунки, но рано или поздно из них все равно образовывался крест. Моя мать сидела рядом на каменной скамье, а старец, стоя позади нее, нежно и строго приглядывался к нашим детским забавам. Тут вышли из кустов некие молодчики; наряд их и вся статья говорили о том, что охота поглазеть и поразвлечься привела их к Святой Липе. Один из них увидел нас и вскричал, рассмеявшись: «Вот это да! Святое Семейство* так и просится в мой альбом!»

Он и вправду достал бумагу, карандаш и принялся нас рисовать, однако старый паломник поднял свое чело и произнес разгневанно: «Злосчастный зубоскал! Ты метишь в художники, но ни любовь, ни вера сроду в тебе не пламенели, и не труды, а трупы косные, подобные тебе, — удел твой жалкий; отчаешься и пропадом ты пропадешь в своем убожестве, изгой опустошенный, чужой всему и всем».

Юнцы смущенно и поспешно удалились.

А старый паломник молвил моей матери: «Я пришел сегодня к вам с этим чудо-младенцем, дабы он одарил вашего сына искрою любви, но

* Святое Семейство — Дева Мария и ее супруг Иосиф с младенцем Христом.

мы с ним должны вас покинуть, и, чего доброго, не видать вам больше ни его, ни меня. Вашему сыну не отказано во многих драгоценнейших дарованиях, однако его кровь заражена кипучим брожением отчего греха, вопреки коему он способен воспарить, и тогда из него выйдет отважный воин веры. Воспитывайте его для духовного звания!»

Сколько бы мать ни говорила, впечатление, произведенное на нее глаголами паломника, оставалось столь проникновенным и действенным, что слова не могли полностью засвидетельствовать его; так или иначе, она вознамерилась в будущем не препятствовать моим стремлениям и невозмутимо принять жребий, который выпадет мне волею попечительного рока, так как средства не позволяли ей помыслить о том, чтобы я удостоился воспитания, превышающего ее собственные возможности.

Возвращаясь домой, моя мать побывала в монастыре цистерцианок*, настоятельница которого происходила из княжеского рода; давняя знакомая моего отца, она обласкала мою мать; туда восходит изведенное мною отчетливо на собственном опы-

* ...в монастыре цистерцианок... — Орден цистерцианцев (цистерцианок) выделился из ордена бенедиктинцев в 1118 г. Основателем ордена был Бернард из Клерво (см. выше), бывший аббатом монастыря Цистерциум близ Дижона во Франции (отсюда название). Орден отличался строгой дисциплиной и установкой на мистический аскетизм. В цистерцианских монастырях был особенно развит культ Девы Марии.

те. Однако все, что могло произойти с тех пор, как явился мне старый паломник (а мне о нем, действительно, напоминает мой собственный опыт пережитого; моя мать лишь повторила мне, что сказали художник и старец), до того момента, как она представила меня настоятельнице, зияет в моей памяти сплошным провалом, от этого времени не осталось ни проблеска. Я как бы опаматовался лишь тогда, когда мать занималась моим костюмом, пытаясь, насколько это было возможно, приодеть и принарядить меня. Она приобрела в городе новые тесемки, она подстригла мою обросшую голову, она со всяческим усердием приводила меня в порядок, наставляя при этом в благочестии и в благоприличии, дабы я не ударил в грязь лицом у госпожи настоятельницы. Держась за материнскую руку, я взошел наконец по широким каменным ступеням и оказался в просторном покое, чьи высокие своды и стены были расписаны святыми образами; там узрел я княжну. Она была высока ростом и величественно прекрасна; монашеское облачение еще более возвышало ее, доводя почтение перед ней до трепета. Она взгляделась в меня с важным пронизательным вниманием и спросила:

— Это ваш сын?

Голос ее, сама ее внешность — и в особенности все то невиданное, что окружало меня, высокие своды, образа, — все это так потрясло меня, что я в каком-то испуге не мог удержаться от слез. Тогда княжна как будто смягчилась, взор ее потеплел, и она произнесла:

— Что с тобою, малютка? Не я ли тебя напугала? Как зовут вашего сына, любезная?

— Франц, — ответила моя мать.

Тогда княжна вскричала, как бы пронзенная душевной мукой: «Францискус!» Она оторвала меня от пола, чтобы страстно заключить в объятия, но в тот же миг внезапная сильная боль где-то в области шеи исторгла из моих уст громкий крик, так что княжна, ужаснувшись, разжала объятия, и моя мать, совсем уничтоженная моей оплошностью, подхватив меня, не знала, как унести вместе со мною ноги. Однако княжна не отпустила нас. Оказалось, что, когда княжна прижала меня к себе, ее алмазный наперсный крест прямо-таки впился мне в шею, и ссадина покраснела и налилась кровью.

— Бедный Франц, — молвила княжна, — вижу, как тебе больно, но ведь мы с тобой помиримся, правда?

Келейница принесла сахарного печенья и сладкого вина. Робость моя прошла, и не понадобилось долгих упрасиваний для того, чтобы я храбро отдал должное сладостям, которые красавица княжна, усадив меня к себе на колени, сама клала мне в рот. Достаточно было нескольких капель сладкого напитка, неведомого мне до той поры, чтобы я воспрянул духом и оживился, как то было мне свойственно, по рассказам матери, с младенчества. Я немало позабавил своим смехом и болтовней настоятельницу и келейницу, задержавшуюся в комнате. Поныне диву даюсь, как это угораздило мою мать подвигнуть меня на расска-

зы о красоте моих родных мест, но я, как будто мне подсказывала высшая сила, умудрился поведать княжне о прекрасной живописи захожего безвестного мастера с такой достоверностью, словно глубочайший дух ее открылся мне. При этом я обнаружил такое проникновение в житийные тонкости возвышенного священного предания, как будто все церковные книги не только знакомы мне, но и досконально мною изучены. Не одна княжна, мать моя сама не сводила с меня изумленных очей, а я, захваченный своими речами, заносился все выше, пока наконец княжна не прервала меня вопросом: «Признайся, мой дорогой, кто тебя всему этому научил?» — и я, ничтоже сумняшеся, признался, что ненаглядный чудный младенец, явленный мне странным паломником, растолковал мне церковные образа, повторив некоторые из них сочетаниями цветных камешков, и не только выявил их смысл, но и пересказал мне многие жития святых.

Послышался звон, возвещающий вечерню. Келейница насыпала сахарного печенья в кулек и вручила его мне, к моему вящему удовольствию. Настоятельница, вставая, обратилась к моей матери с такими словами:

— Я намерена впредь опекать вашего сына, любезная, и надеюсь обеспечить его будущность.

Моя мать была так растрогана, что не могла говорить, она только с горячими слезами целовала руки княжны. Уже в дверях княжна задержала нас, снова приподняла меня, не забыв на этот раз отстранить крест, и чуть не задушила меня в объ-

ястях, плача навзрыд, обжигая мне лоб слезами, воскликнув:

— Францискус! Остаься и впредь таким же верующим, таким же хорошим!.. — В глубоком умилении я сам не мог удержаться от слез, не понимая, отчего, собственно, я плачу.

От щедрот настоятельницы вскоре наладилось наше незатейливое житье-бытье, которое мы владчили на маленьком хуторе по соседству с монастырем. Мы больше не нуждались, я приоделся и мог воспользоваться уроками священника, подпевая ему на клиросе, когда он служил в монастырской церкви.

Отрадной грезой облекает меня воспоминание о той ранней счастливой поре! Ах, как недосыгаем прекрасный край, где обитают беспечность и безоблачная резвость простодушного детства, остается моя родина далеко-далеко позади меня, и между нею и мною навеки разверзлась пропасть, устрашающая взгляд. В пурпурном освещенье раннего утра я все яснее различаю дорогие мне лица, я сгораю, воспламенен разлукой, и уже как будто до меня доносятся их сладкозвучные голоса. Ах! — что это за пропасть, если сама любовь не в силах превозмочь ее в своем неудержимом полете? Разве существуют время и пространство для любви! Не витает ли она в помыслах, а где мера помысла? Однако темные тени возникают и сгущаются, тесня меня беспросветным своим натиском, и желанная даль исчезает из виду, а насущное подавляет мои порывы будничными мытарствами, и даже неизречен-